

Максим Горький

Карамора



Максим Горький

Карамора

«Public Domain»

1924

Горький М.

Карамора / М. Горький — «Public Domain», 1924

«Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут – карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках – ловок...»

Максим Горький

Карамора

Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, – порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, – самому близкому.

Слова рабочего Захара Михайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 1917 г. «Былое», 1922, кн. 6-я, статья Н. Осиповского.

*Иногда – ни с того ни с сего – приходят мысли плохие и подлые...
Н.И. Пирогов.*

*Позвольте подлость сделать!
Один из героев Островского.*

*Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма.
Из письма Л. Андреева.*

*По обдуманному поступку не узнаешь, каков есть человек, его выдают поступки необдуманные.
Н. С. Лесков в письме к Пыляеву.*

*У русского человека мозги набекрень.
И. С. Тургенев.*

Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут – карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках – ловок.

Дали мне они три дести бумаги: пиши, как всё это случилось. А зачем я буду писать? Всё равно: они меня убьют.

Вот – дождь идет. Действительно – идет: полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном – гром, шум, тюрьма притихла, трясется, дождь и ветер толкают ее, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я, сам в себе, как рыба в бредне.

Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и всё.

А может быть, это не так. Все-таки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И – темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем.

Пускай убивают.

Всю ночь не спал. Душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром, точно из бани. В небе серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова.

Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что еще делать? Как в щель смотрел, а за щелью – зеркало, и в нем отражено, застыло пережитое мною.

Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой и докрасна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком.

Был он из тех, которые рождаются мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жизнь, – точно ограбленный поймал вора и обыскивает его.

Мне, веселому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьем. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было: я, здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирает в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но ведь как скажешь: «Всё это – правда, только мне ее не нужно. Своя есть»?

Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путем. Ошибся, не сказал. Пожалуй, именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было: сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенького галчонка.

Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушел, я стал высмеивать товарищей: нашли учителя! Но Зотов, скорняк, который завел всю эту машину, озлился на меня, да и другие – тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притерлись к нему.

Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унизить его в глазах товарищей; это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живет и горит в таком хилом, маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы.

На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух, трех бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал ее. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я – сгоряча и по молодости моей – не заметил. Доказано, что по закону естества разума мысль рождается фактами. Разумом я принял социалистическую мысль как правду, но факты, из которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравенства людей был для меня естественным, законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей; еще мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне, и вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту – любви к людям, что ли? Не знаю – чего. Проще говоря: социализм был не по росту мне, не то – узок, не то – широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм – чужое дело. Они похожи на счетные машинки, им всё равно, какие цифры складывать, итог всегда верен, а души в нем нет, одна голая арифметика.

Под «душой» я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать, – верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни, должно быть, в том, что такой «души» у меня не было, а я этого не понимал.

Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне; стараясь уличить его в том, что он не всё или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование

с ним настолько быстро двигало меня вперед, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего.

Он, пожалуй, даже любил меня.

– Вы, Петр, настоящий, глубочайший революционер, – говорил он мне.

Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, черненький, точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил:

– Не живет, а – тлеет. Так и ждешь: вот-вот вспыхнет и – нет его!

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но – обижал его. Например – спрашиваю:

– Вы всё говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазенками и сказал, что хотя капитализм интернационален, но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма – Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвел упреки, сказав, что его умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда.

На восьмом месяце занятий с нами он был арестован вместе с другими интеллигентами, с год сидел в тюрьме, потом его сослали на север, и там он умер.

Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытаращив глаза, но – ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким – легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их.

Привели в тюрьму солдата, – удивительно похож на отца в год его смерти: такой же лысый, бородатый, так же глубоко, в темные ямы, провалились глаза, и посмеивается виновато, как смеялся отец мой перед смертью.

– Петруха! – спрашивал он меня. – А ну, как умрешь – черти встретят?

Он умирать не хотел даже до смешного; лечился сразу у троих: у знаменитого доктора Туркина, у какой-то знахарки в слободе, ходил к попу, который от всех болезней пользовал настоем эфедры – «кузьмичовой травы». Боялся отец и за меня. Говорит, бывало:

– Бросил бы ты, Петр, забаву эту! В том, что люди плохо живут, не твоя вина, – почему же твоя обязанность налаживать чужую жизнь? Это всё равно как если б ты чужих гусей пас, а своих без призора оставил.

В грубых мыслях правды больше. Конечно – люди посажены на цепь экономики. Экономический материализм – учение ясное и никаких выдумок не допускает. Связь между людьми – дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно – я терплю эту связь, а невыгодно – открываю свою лавочку: прощайте, товарищи! Я – не жаден, немного мне надо на мой срок жизни.

Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что ли, проповедники любви к людям. Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими, но понимал, что их любовь к людям – выдумка, и – плохая. Понятно, что для тех, кто, не имея определенного места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически необходима; это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела – забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силою, утвердить свою идею, позицию, свое честолюбие. Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это – любовь. Но это не любовь, а – механика, притяжение к массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую социальную механику.

В городе, ночами, постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то выл, стонал, топал ногами. Кажется – женщина.

Утром приходил от них товарищ Басов, спрашивал: пишу ли я? Пишу.

Он снова, как на первом допросе моем, ужаснулся, разводил руками, бормотал:

– Поверить невозможно, что это – вы, старый партиец, организатор восстания, один из самых энергичных работников наших.

Неприятная у него манера говорить; слова будто жует, а они у него прилипают к зубам, и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и – кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах. Скучный мужчина. Лицо у него – лицо безвинно наказанного, на всю жизнь обиженного. Среди интеллигентов много встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий должен им полтора рубля и – не платит.

Они, видимо, думают, что смерть испугает меня и я, несчастный злодей, растекусь пока-нием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки.

Да, я пишу. Не для того пишу, чтоб вытянуть несколько лишних дней жизни в тюрьме, а – по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека, и один к другому не притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и – не то раздувает, разжигает вражду, не то – честно хочет понять: откуда вражда, почему?

Это он и заставляет меня писать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется понять всё или хоть что-нибудь. А может быть, третий-то – самый злой враг мой? Это уж похоже на догадку четвертого.

В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям. Но во мне, я думаю, живет человека четыре, и все не в ладу друг с другом, у всех разные мысли. Что бы ни подумал один – другой возражает ему, а третий спрашивает: «Это вы зачем же спорите? И что будет из вашего спора?»

Есть, пожалуй, еще и четвертый, этот спрятался еще глубже третьего и – молчит, присматривает зверем, до времени тихим. Может быть, он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу.

Я думаю, что еще в юности, когда слагается человек, он, волею своей, должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей.

А вдруг он именно ее и задушит, лучшую? Ведь – черт ее знает, которая лучшая-то!

Интеллигентам – легче, у них школа вытравляет лишние зародыши, злую икру, а нашему брату, когда в нем проснется неукротимая жажда всё знать, всё попробовать, всё испытать, – нашему брату очень трудно!

В двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны, по всем следам, стремясь всё обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания, а желаниям – счета нет.

Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу, а «постыдно» ли такое равнодушие – этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю.

Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси: «Когда человек очень умен, так это даже неприлично».

Значит: пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя и потому, что мне скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого, и забавно ловить мысли свои на попытках соврать, спрятать что-нибудь от четвертого, ускользнуть от его слежки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После нее остается только пепел? Ну что ж...

Едва ли они увидят и прочитают эти записки, я успею истребить бумагу или пересуну ее в другие руки, чужим людям.

Вот рядом со мною воры сидят, трое, веселый народ. Старший у них – почти мальчишка, лет двадцати, не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поет частушки, особенно – одну:

Я отчаянным родился
И отчаянным помру,
Если голову мне сломят —
Я полено привяжу.

Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася – шоколад.

Всего лучше чувствует себя человек в затруднительном положении. Когда, около Темрюка, оторвало ветром льдину с рыбаками и понесло их в море, я, бросившись им на помощь, тоже был оторван и поплыл на маленькой льдине один, с багром в руках. Сразу стало ясно мне, что игра моя проиграна, так ясно, что на минуту я оледенел изнутри. Волной ломало льдину под ногами у меня, еще минута – и я бы потонул. Рыбаки, оставшиеся на льду, еще не оторванном от берега, бросили мне длинную веревку – этим лично я был спасен. И тотчас, как будто в меня извне вскочил кто-то, очень ловкий, злой, – я закричал, чтоб бросали еще веревки, а ту, которая уже была в руках у меня, метнул рыбакам – они выли и метались в десятке сажен от меня. Им удалось подцепить веревку багром, а меня они сорвали со льдины в воду. Но я уже успел подхватить веревку с береговой льдины, связал обе, потом еще одну, и рыбаков осторожно подтянули к берегу. Из девяти человек потонул только один старик; в суете и страхе его свои столкнули в воду. Когда льдину с ними тянули к берегу, меня едва не перетерли веревкой, она была обмотана вокруг моего тела, я болтался на воде, как поплавок.

Вообще, когда меня настигала опасность, она, как бы сама против себя действуя, многократно увеличивала силы мои, наделяла спокойствием, обостряла соображение и всегда позволяла преодолеть ее. Смел я был до нахальства и-особенно любил себя в минуты, когда жизнь моя висела на волоске.

Был смешной случай: во время устроенного мною с воли побега товарищам из тюрьмы старичок надзиратель, догоняя, четыре раза выстрелил в меня из револьвера. После второго выстрела я остановился, не хотелось бежать, не то – стыдно было, не то – смешно. Подбегая, он выстрелил еще раз, попал в голенище сапога, оцарапал ногу, потом стреляет в упор, в грудь – осечка!

Я вышиб револьвер из руки его, говорю:

– Не вышло, старик?

А он, задыхаясь, хрипит:

– Так ты беги, дьявол! Чего же ты ждешь, чё-орт?

Страх испытал я, кажется, только один раз – во сне, в ссылке, в захолустном городке Уржуме. Там было такое совпадение условий: начитался я книжек по астрономии, только что перенес тиф и едва ходил по земле, а тут еще явился странный человечек и начал проповедовать мне о «распятом за нас при Понтийском Пилате». Он почти не говорил – «Христос», а всё только «распятие за ны». Был он человек жалкий, должно быть, не в своем уме, и был, несомненно, не простой странник, прихлебатель по кухням богатых купчих, а из интеллигентов. Длинный, сухой, с несчастной бородкой, на висках седые волосы, хотя – не стар, лет тридцати пяти. Молодили его глаза, необыкновенно лучистые, глаза влюбленной девушки, так сказать. Синеватые зрачки его точно горели и таяли, растекаясь по большим, очень выпуклым белкам.

Сижу у ворот на лавочке, пригрело меня солнцем, задремал, – вдруг рядом со мною очутился этот человек и начал говорить о «распятом за ны». Говорил изумительно, с такой детской наивностью и так, как будто сам непосредственно пережил всю авантюру Христа, – «авантюра» – это слово товарища Басова, специалиста по атеизму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.